

Адриан Конан Дойл

Истинный Конан Дойл*

(...) Прежде чем приступить к изложению некоторых фактов, я хотел бы обратиться к тем читателям, которые, возможно, разделяют неверное представление, будто взгляд сына на своих родителей подвержен естественным искажениям. Опыт моей жизни подтверждает, что справедливее обратное. Ведь сыну приходится сталкиваться не только с отцовскими добродетелями, но и с самыми худшими его слабостями, и если только сын не лишен здравого рассудка, он имеет возможность основывать свои оценки на личном опыте, а не на наблюдениях за парадной витриной. Конан Дойл по происхождению был южным ирландцем, с присущим ирландцам бурным темпераментом, и я любил его за то, что он был хорошим отцом и замечательным товарищем. В то же время — и здесь мне придется разочаровать нынешних идеалистов — он нередко внушал мне смертельный страх. Речь не о физическом страхе, а о сознании, что в этом “великом и сердцем, и телом, и духом” человеке (я привожу высказывание Джерома о Конан Дойле) угадывалась железная воля того, кто не способен ни понять, ни простить малейшего отклонения от единственного кодекса чести, которого он сам придерживался.

* Мы уже говорили в предисловии о той роли, какую сыграла книга Адриана Конан Дойла “Истинный Конан Дойл” в истории написания биографии писателя. Сейчас, представляя читателям книгу в почти полном виде (за исключением уже цитированных мест и пассажей, посвященных подробному описанию генеалогического древа), мы хотели бы, в силу избранного нами принципа “параллельных жизнеописаний”, дать пример еще одного взгляда на жизнь великого человека, пример оценки его жизни близкими людьми, пример страстной — даже пристрастной — апологии. (*Примеч. переводчика*)

вался. (...) Хотя мой отец был еще мальчиком, когда скончался его дедушка, влияние Джона Дойла было определяющим. Призрачная рука традиции коснулась процесса становления личности. И оттого нам следует обратить особое внимание на Джона Дойла. Уже более столетия минуло с тех пор, как личность художника, скрывшегося за загадочным псевдонимом “НВ”, была предметом жарких споров в обществе, но документы, имеющиеся в моем распоряжении, помогут освежить потускневшую картину. В двадцатых годах прошлого века объявился гений, чьи анонимные карикатуры настолько захватили внимание публики, что их появление в книжных лавках или витринах издателей сопровождалось длиннющими очередями — это повторилось семьдесят лет спустя, когда стали появляться произведения его внука. В дело были замешаны крупные политические деятели. Как на автора этих карикатур молва, в частности, указывала на Хейдона, который благородно отклонил это предположение словами: “Но ведь он гений”. И в то время как “инкогнито” оставалось неразгаданным, ирландский художник Джон Дойл невозмутимо продолжал выставлять свои картины в Королевской академии. Тридцать лет спустя, когда он позволил приподнять завесу тайны, более 900 его рисунков, собранных и переданных князем Меттернихом, находились уже в Британском музее, а еще за три или четыре листа правительство уплатило 1000 гиней. Скульптурный портрет, созданный Кристофером Муром в 1849 году, дает представление не только о его величественном облике, но и о той таинственности, что окружала загадку “НВ”. Вращаясь в кругу Байрона, Скотта и Шеридана, он покинул общество, когда решил, что “великая эра” уходит в прошлое. Очень немногие, среди которых выделяются Милле, Теккерей, Росетти и Ландсир, были вхожи, как друзья его сыновей, в дом № 17 по Кембридж-террас, но, как вспоминает Льюис Ласк, “эти

замкнутые Дойлы не жаловали вторжений из внешнего мира”.

Под его покровительством (а о нем отзывались, как о натуре весьма властной) четверо его сыновей встали на путь, приведший их к славе, и появление Артура Дойла воспринималось просто как появление пригодного материала для третьего поколения художников. Однако свое нравная Судьба приладила к его кисти перо, и его “живопись” выразилась в ярких картинах “Белого отряда”, живописи “Родни Стоуна” и в бессмертном образе детектива. Получая по десять шиллингов за слово, “непослушный” сын стал самым высокооплачиваемым автором в мире.

Тех, чье знание о моем отце сводится к Холмсу, к спортивным победам или служению спиритизму, может удивить, что детство сэра Найджела и обстановка, его окружавшая, почти в точности списана с детства самого Конан Дойла. Единственное различие состоит во времени и месте действия, каковое из древней обители его предков превратилось в скромное жилище на Либертон-бэнк. Воспитание Конан Дойла было столь основополагающим и значительным, что заслуживает более подробного описания.

Уже сама атмосфера дома дышала рыцарским духом. Руководимый матушкой мальчик стал знатоком геральдики и почитателем древностей. Конан Дойл научился разбираться в гербах много раньше, чем познакомился с латинским спряжением. Когда к нему в руки попали школьные учебники, сыгравшие весьма второстепенную роль в его образовании, он уже с головой ушел во все хитросплетения своей родословной, со всеми младшими ветвями рода и брачными узами за шесть предшествовавших столетий, и, что самое главное, как верное мерило земных ценностей, ему был привит незыблемый и неумолимый кодекс древнего рыцарства, со всеми последствиями, которые это может иметь в становлении личности и характера юноши.

Волшебными сказками ему служили страницы Фруассара и Де Монстреле: воображаемые приключения обрастали подробностями из семейной хроники. Короче говоря, мы видим мальчика, с нежнейшего возраста погруженного в рыцарскую науку пятнадцатого века, растущего в лоне семьи, для которой родовая гордость имела бесконечно большее значение, чем неудобства, вызванные сравнительной бедностью окружающей обстановки. Все это я услышал из уст моего отца. Более того, еще ребенком я тоже испытал на себе точно такое же влияние моей бабушки, которая бесконечные занятия геральдикой оживляла рассказами о детстве моего отца, о благородном существовании древнего обнищавшего, но не увядающего рода. Сколь глубоко в сознании моего отца укоренилось рыцарское воспитание, видно из того, что первые уроки французского, преподанные мне моим отцом, велись не по книжке “Французский без слез”, а по “Мемуарам сестры Жуанвилль”; или из того, что, когда в детстве выздоровление после тяжелой болезни зависело от моего желания побороть недуг, он подбадривал меня не обещаниями роскошных игрушек или золотой монеты, а призывами к моему мужеству; крошечная цветная картинка, изображавшая французских рыцарей и лучников при Аженкуре, — талисман, с которым я не расстанусь и по сей день. А у камина рассказывались древние легенды, неизменно завораживая воображение сперва мальчика, потом юноши и наконец мужчины; оживали история и исторические персонажи, а период смены кольчатых доспехов чешуйчатыми, волшебное искусство Антона Пеффенхаузера и старые германские оружейники ознаменовали конец детства, прошедшего под влиянием того же воспитания, которое сформировало характер моего отца. Позднее, когда я повзрослел, напор грубой современности все чаще сталкивался с суровым кодексом джентльмена, который — внимательно и чутко от-

носясь к переходному периоду возмужания, многими родителями просто незамечаемому — придерживался средневековых мерок во всех основных сторонах жизни: женщины, деньги, обращение с нижестоящими, родовая гордость, нетерпимая к снобизму, готовность к самопожертвованию в отношениях с соратниками — таковы статьи кодекса, настолько неотторжимого от его натуры, что, любя отца, я просто не могу позволить себе слишком явных его нарушений. Это — основа. Это — сущность. И осознание этого наполняет смыслом, скажем, такой эпизод: мой отец в одних носках стоит на гравийной дорожке и, благодушно наблюдая, как весьма грязный бродяга удаляется в его великолепных башмаках для гольфа, приговаривает: “Ему они нужней”.

Тот же рыцарский кодекс, когда Конан Дойл, как и его предки, пожертвовавшие всем ради католичества, пожертвовал всем ради спиритизма — веры, которую многие противопоставляют католичеству, — лишь усугублял унаследованную непреклонность. Дважды в четырех поколениях складывалась ситуация, “столь излюбленная романистами, но столь редко встречающаяся в жизни”, когда целая семья жертвует всем, кроме чести, во имя веры и — что делает необыкновенную ситуацию еще необыкновенней — ради учений, столь далеко друг от друга отстоящих.

Как и всякий истинный аристократ, Конан Дойл, крайне пренебрежительно относился к своему возвышению. Он, пока матушка не уговорила его, отказывался принять рыцарский титул, пренебрег званием пэра во имя проповеди спиритизма, и лишь после его смерти мы узнали, что он был кавалером Короны Италии. Многие недоумевали, почему в своих книгах он не именовал себя сэром. Объясняется это тем, что титулы сами по себе значили для него едва ли больше, чем спортивные достижения, но ответственность и рыцарственность — качества, которые, по его мне-

нию, должны были естественным образом наследоваться в древнем или благородном роде. Ребенком, сидя у него на коленях, я узнал, что есть три черты, характеризующие джентльмена: во-первых, покровительственное и рыцарственное отношение к женщинам, во-вторых, вежливое обращение с теми, кто стоит ниже на социальной лестнице, и в-третьих, повышенная щепетильность в финансовых делах. Юноша необузданный, я со всей присущей молодости дьявольской изобретательностью не раз имел случай познакомиться с кодексом Конан Дойла. В таких проделках, как неумышленный выстрел по садовнику (что, по счастью, закончилось дружбой с ним на всю жизнь), или когда я разможил о дуб автомобиль, обошедшийся отцу в 700 гиней, или когда замечательное изобретение, состоящее из спичек и пружины, вызвало пожар в бильярдной, я испытывал на себе гнев достаточно бурный, чтобы отбить охоту к повторению подобных опытов, однако в нем сквозил какой-то едва уловимый оттенок, придающий моим воспоминаниям об этих случаях некоторую теплоту. Однажды и лишь однажды видел я такую вспышку великой — как все реакции отца — ярости, что она оставила глубокий рубец на моей памяти. На сей раз речь шла не о пустяке вроде 700 гиней. Я, к моему вечному стыду, был крайне непочтителен со служанкой. Под угрозой оказался сам кодекс чести. Впоследствии, когда я вошел в возраст, в котором женщины начинают волновать воображение юного ирландца, отца это ничуть не беспокоило. В положении холостяка свобода действий вовсе не обязательно должна враждовать с рыцарственностью. Но грубость по отношению к прислуге — дело иного рода. (...)

Конечно, в человеке, который мог убедить своего сына, что, случись ему заболеть венерической болезнью, он может рассчитывать на родительское понимание и помощь, была определенная широта взглядов. Напротив, была и не-

которая ограниченность в этом же человеке, немедленно закипающем яростью при самом невинном из пикантных замечаний. То же можно сказать о его реакции на самые безобидные вольности, которые позволяли себе благодушные незнакомцы. Едва ли что-нибудь могло вызвать у него такую мгновенную вспышку настоящего кельтского гнева, как панибратское похлопывание по плечу, фамильярность или бесцеремонность обращения. И вместе с тем это был человек из железа, который, не дрогнув, вышел на сцену и в течение полутора часов выступал перед аудиторией, собравшейся в Танбридж-уэлс, за пять минут до того получив сообщение о смерти старшего сына. И тот же человек яростно разносит в щепки трубку сына за то, что автор этих строк имел неосторожность закурить в присутствии женщин. Приглядевшись к суровой, подчас грозной фигуре, читателю нетрудно поверить также, что он в возрасте 70 лет отправился в одну из столиц Империи с единственной целью проучить своим пресловутым зонтиком негодяя, который публично заявил, что он, Конан Дойл, воспользовался смертью старшего сына для пропаганды спиритизма.

Но это тот же самый человек, который был способен дать крюк в тридцать миль, чтобы иметь честь оказать услугу престарелой цыганке — тот же самый человек, который расчувствовался на месте легендарного Камелота; тот же самый человек, который мог просидеть всю ночь напролет у постели больного слуги, читая ему вслух и облегчая страдания. Легко понять, почему, когда Конан Дойл отправился на бурскую войну, его дворецкий поехал вместе с ним, как верный оруженосец. Все это, конечно, мелочи, но если мои юношеские воспоминания в большом и малом сотканы из подобных анахронизмов, то можно сказать, что серьезного биографа ждет лучший материал, о котором приходится только мечтать, — яркая индивиду-

альность. И опять Холмс во плоти — Холмс за работой. Моя память сохранила воспоминания о непривычных, тихих периодах жизни, когда после появления некоего взволнованного посетителя или после получения некоторого письма отец запирался в своем кабинете на два или три дня. И это вовсе не походило на азарт охотника. Тут было полное погружение в размышления, расчеты, построение предположений и поиск решения загадки, которого от него, как от последней инстанции, с надеждой ожидали. Домашние стараются ступать бесшумно, на пороге громоздится поднос с нетронутой пищей, неосознанное томительное ожидание, передающееся всей семье и даже прислуге, было отражением тех глубоких умственных процессов, что происходили там, за задернутыми шторами, при свете лампы. И если перед нашим мысленным взором встает образ холодного и бесстрастного криминалиста, то лишь затем, чтобы в следующее мгновение столкнуться лицом к лицу с человеком, способным пожертвовать гораздо большей суммой, чем позволяют его доходы, ради поддержания самой дикой идеи о поисках сокровищ или затонувшей галеры; или с искателем приключений, который в последний год своей жизни настоял на том, чтобы самому пронестись со скоростью 120 миль в час, сидя на месте механика в гоночном автомобиле; или с человеком, который в ночной прогулке по залитым лунным светом болотам увлеченно рассказывал о геологии Южной Англии или о кровавых делах эшдаунских контрабандистов, или же громко распевал матросские песенки с таким артистизмом, что воспоминание об этом действует освежающе, подобно морскому бризу.

Его индивидуальность видна даже в особенностях умственного склада. Холмсовские рассказы изобилуют провалами памяти: от обстоятельств ранения Уотсона до цвета глаз персонажа, которые к концу рассказа чудесным обра-

зом превращаются из голубых в карие. Да, это провалы памяти. Но в то же время Конан Дойл мог продемонстрировать силу памяти, граничащую с трюком. Например, если бы кому-нибудь вздумалось проэкзаменовать его по какой-либо книге, которую он не держал в руках по крайней мере лет 20, он мог с ходу пересказать сюжет и перечислить всех основных персонажей. Мне не раз приходилось убеждаться в этом. Точно так же, встретив какого-нибудь отставного военного и поинтересовавшись, какого он полка, Конан Дойл мог немедленно назвать пораженному собеседнику не только бригаду и дивизию в состав которых этот полк входил, но и основные военные операции, в которых он принимал участие! И из тех случаев, которым свидетелем был я, не было ни одного, сколько я могу припомнить, чтобы отец ошибся. Невосприимчивый к обстоятельствам ранения бедного Уотсона, его мозг представлял собой гигантское хранилище неподверженных времени и аккуратно разложенных по полочкам благоприобретенных знаний. Наблюдательность его была столь острой, что, как я уже не раз говорил, он мог, лишь взглянув на человека, определить его привычки и род занятий, теми же приемами, которыми он вооружил свое творение — Шерлока Холмса.

Недавно в печати появилось любопытное свидетельство американского журналиста м-ра Хейдона Коффина: он рассказал, что в 1918 году Конан Дойл в частной беседе заявил: “Если Холмс и существует, то, должен признаться, — это я сам и есть”. Более полувека многочисленные плохо осведомленные писатели и критики вводили публику в заблуждение, отдавая лавры Холмса исключительно д-ру Джозефу Беллу, что так же нелепо и смешотворно, как адресовать все восторги от игры музыканта-виртуоза учителю, преподавшему ему первый урок музыки. Конан Дойл был слишком велик, чтобы его могло волновать подобное

недоразумение. В действительности, сколько я знаю, его даже немало веселила эта ситуация. И все же в его фразе “нельзя вылепить по-настоящему живой образ из собственного я, если самому не обладать его дарованиями” можно увидеть явный намек.

Удивительные способности д-ра Белла послужили к расцвету тех дарований, которые таились, в Конан Дойле. В этом, и только в этом, заслуга д-ра Белла. Если бы почтенный доктор умел возвращать не врожденные таланты, то Эдинбургский университет в период с 1876 по 1881 год из многих сотен студентов произвел бы целую плеяду Шерлоков Холмсов во плоти! Тогда в чем же дело? А дело в том, что мой отец сам обладал всеми теми способностями — возможно, даже в большей степени, — что и д-р Белл. Этот вывод подкрепляется еще и тем, что пресловутые качества не только нашли выражение в рассказах, но и не раз применялись моим отцом на практике. По силе дедукции я не встречал ему равных. И свое необычное умение он использовал и в обыденной жизни. Путешествуя с отцом по европейским столицам, более всего мне нравилось ходить с ним по знаменитым ресторанам и выслушивать его бесстрастные замечания о характерах, занятиях, увлечениях и других подробностях жизни посетителей, подробностях, совершенно скрытых от моего взора. Иногда нам не удавалось проверить тотчас же справедливость его догадок потому, что обсуждаемое лицо не было знакомо метрдотелю; но когда объект наших наблюдений оказывался человеком известным, точность отцовских выводов блестяще подтверждалась. В качестве примечания сообщу некоторую подробность, небезынтересную поклонникам Холмса. В воображении мы всегда рисуем себе великого сыщика в неизменном тускло-красном халате с загнутой трубкой в зубах. Но это были как раз предметы обихода Конан Дойла, и оригиналы до сих пор хранятся в

нашей семье!

Как это ни парадоксально, отцовская наблюдательность была весьма избирательной, поэтому подчас можно было увидеть на ступенях клуба Атенеум величественную с головы до пят фигуру Конан Дойла, если не считать чересчур маленькой для его массивного черепа шапочки сына, которую он небрежно нахлобучил на макушку. Детская ли шапочка или старый плащ, впопыхах подхваченный в прихожей, — такие неполадки в одежде были верными признаками того, что он столкнулся с детективной задачей, или легендой, требующей проверки, или какой-либо интригой. Однажды (дело касалось молодого человека, исчезнувшего при обстоятельствах, не оставляющих у полиции сомнения, что он был убит, а тело его уничтожено) я встретил отца, обутого в один черный и один коричневый башмак — симптом сосредоточенности мысли, не сулящий злоумышленнику ничего хорошего. И действительно, в два дня, не покидая Лондона, по тем самым уликам, которые неопровержимо указывали на его гибель, отец обнаружил, что пропавший юноша цел и невредим и скрывается в Ливерпуле.

Работая над этими заметками, я сделал одно открытие, с которым будет интересно ознакомиться холмсоведам всего мира. Просматривая один из старых отцовских сундуков, я откопал связку юношеских медицинских записей с заткнутыми в них пятью листами, исписанными его рукой. Из этой рукописи видно, что Уотсон не только появился на свет прежде Холмса, но что в первоначальном варианте “Этюда в багровых тонах”. Холмса вообще не было! Только Уотсон да Джефферсон Хоуп, а заглавие “Этюд...” в этом варианте рукописи, представлявшей собой более пространственный и драматичный рассказ, было густо зачеркнуто и уступило место “Ангелам тьмы”. Не умаляя значения Холмса, это наблюдение придает дополнительный вес об-

разу Уотсона.

Влияние Конан Дойла на европейскую и азиатскую криминологию заслуживает специальной главы в его биографии, которую еще предстоит написать перу более талантливому, чем мое. Обучение египетских полицейских методам работы Холмса, весьма знаменательный жест французской “Сюртэ”, назвавшей именем Конан Дойла Лионские криминологические лаборатории, почет, который ему оказало полицейское училище в Китае, сверхъестественные истории и анекдоты о Холмсе как о реальном человеке, бытующие во всем мире, — вот то обширное поле, которое предстоит возделывать биографу.

Я не собираюсь здесь обсуждать веру отца в спиритизм. Но одно я должен отметить, принимая во внимание некоторые необоснованные, а подчас и злонамеренные утверждения о его “легком обращении” и “доверчивости”. Мой отец приступил к своим исследованиям, будучи еще ярким противником всякой веры в загробную жизнь, и — что исключительно важно уяснить — он решительно отказывался от какого бы то ни было окончательного приговора на протяжении тридцати трех лет, пока продолжались его исследования. (...)

Если неживое может говорить о живом, то письменный стол отца рассказывает о широте его интересов. Он был уставлен самыми необыкновенными и несообразными предметами, среди которых я помню медали бурской войны и маузеровские пули, древнегреческие монеты, пули “дум-дум” немецкого снайпера, зуб ихтиозавра, Железный крест, древнеегипетскую статуэтку, большой кристалл, выросший в желудке кита, древнеримские черепки и осколки из стекла, монеты извлеченные из лавы, которая погребла под собой Помпею. Словом на его рабочем столе лежало в беспорядке сырье для его мыслительной деятельности.

В качестве примечания могу заметить, что своим лучшим произведением отец считал “Человека из Архангельска” из сборника “Приключенческих рассказов”.

Что касается самого интимного и, быть может, самого важного аспекта жизни мужчины — его нравственного отношения к женщине, то эпилог к книге д-ра Ламонда “Артур Конан Дойл”, который моя матушка оставила потомкам, есть сияние чистейшего света, и ни одна женщина, прочитавшая эти строки, написанные на тридцатом году брака, не нуждается в моих пояснениях.

Работу над каждым новым произведением отец начинал с тщательной подготовки. К примеру, прежде чем начать “Белый отряд”, он уединился на целый год в небольшом коттедже в Нью-Форесте, где единственными собеседниками ему служили шестьдесят пять работ по всем аспектам жизни XIV века. Лишь выйдя из своего добровольного затворничества, взялся он за перо. У меня хранится несколько дюжин его записных книжек и тетрадок, от корки до корки исписанных его мелким ювелирным почерком и испещренных набросками и схемами, и каждая книжка — остов того или иного произведения. Обширные исследования во всех случаях были тем фундаментом, на котором зиждилось здание его литературного мастерства и писательского воображения. Все факты были досконально проверены. Как правило, он начинал работать в своем кабинете ежедневно в 6.30 утра и после часового перерыва на послеобеденный сон вновь садился за работу до одиннадцати часов вечера, а затем отправлялся в постель с Библией (каждая страница которой носила его пометки) или статьей о новейших раскопках в Египте, или, бывало, со сшитыми в один увесистый том газетными репортажами о чемпионате по боксу среди тяжеловесов. Уже в возрасте семидесяти лет он увлекся масляной живописью.

Могучий дух Конан Дойла довлел надо мной все те два-

дцать с небольшим лет, что я провел с ним под одной крышей. С того момента, как пучеглазая служанка подняла меня, еще совсем маленького, к окну, чтобы я посмотрел, как мой отец и премьер-министр Англии, увлеченные беседой, прогуливаются взад-вперед по лужайке перед домом, и до той минуты, когда, вложив свою большую ладонь в мою, отпрыск древнего рыцарства ушел к своим предкам, я ощущал, что мне дорого обойдутся широта и величие моего отца. Я хочу сказать, что будучи человеком обыкновенным, я, обращаясь в компании других обыкновенных людей, ощущаю горькое разочарование и сознаю их несоразмерность той яркой индивидуальности, что сияла в Артуре Конан Дойле.

Я закончу следующими четырьмя лаконичными оценками этого человека, которые я отобрал из множества имеющихся в моем распоряжении:

Из России: “Конан Дойл был личностью сильной и обаятельной”. *Проф. Ковалев, бывший царский сановник.*

Из Германии: “Воздадим ему почести, какие только человеческий ум и человеческий язык могут воздать великому человеку с его славой”. *Адмирал германского флота Тюрк.*

“Не было и нет человека более достойного, чем Конан Дойл”. *Сэр Джеймс Барри.*

Его завет потомкам — в словах подполковника Грэхема Сетона Хатчинсона, солдата и писателя:

“Конан Дойл был совершеннейшим воплощением джентльмена”.

(1945) Сокращенный перевод М.Д. Тименчика

Текст дается по изданию:

Карр Д.Д. Жизнь сэра Артура Конан Дойла. Пирсон Х. Конан Дойл. Его жизнь и творчество. М.: Книга, 1989, с. 310-318;